

ДОШКОЛЬНОЕ
ЧТЕНИЕ



Х. К. Андерсен

Сказки



Соответствует
ФГОС ДО

«МАЛЫШ»

Дошкольное чтение

Ганс Андерсен
Сказки

«АСТ»

УДК 821.113.4-34-053.2
ББК 84(4Дан)-44

Андерсен Г. Х.

Сказки / Г. Х. Андерсен — «АСТ», — (Дошкольное чтение)

«Снежная королева», «Русалочка», «Дюймовочка» и другие сказочные истории вошли в книгу знаменитого датского сказочника Г. Х. Андерсена. Сейчас Г. Х. Андерсен считается автором всемирно известных сказок для детей, хотя он злился, когда его называли детским сказочником и говорил, что пишет сказки для взрослых. Истории Г. Х. Андерсена стали любимы в нашей стране благодаря талантливому переводу А. Ганзен. С 1956 года вручается литературная премия имени Ганса Христиана Андерсена, для детских писателей это наиболее престижная международная награда, её часто называют «Малой Нобелевской премией». Для дошкольного возраста.

УДК 821.113.4-34-053.2
ББК 84(4Дан)-44

© Андерсен Г. Х.
© АСТ

Содержание

Принцесса на горошине	6
Девочка со спичками	8
Гречиха	10
Соловей	11
Штопальная игла	17
Тётушка Зубная Боль	20
Стойкий оловянный солдатик	27
Дюймовочка	30
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Ганс Христиан Андерсен

Сказки

© Перевод, Яхнина Ю. Я., насл., 2017

© Панов В. П., ил., насл., 2017

© ООО «Издательство АСТ», 2017

* * *

Принцесса на горошине



Жил-был принц, и хотелось ему взять за себя тоже принцессу, только настоящую. Вот он и объездил весь свет, а такой что-то не находилось. Принцесс-то было вволю, да были ли они настоящие? Этого он никак узнать не мог; так и вернулся домой ни с чем и очень горевал, – уж очень ему хотелось достать настоящую принцессу.

Раз вечером разыгралась непогода: молния так и сверкала, гром гремел, а дождь лил как из ведра; ужас что такое!

Вдруг в городские ворота постучали, и старый король пошел отворять.

У ворот стояла принцесса. Боже мой, на что она была похожа! Вода бежала с её волос и платья прямо в носки башмаков и вытекала из пяток, а она всё-таки уверяла, что она настоящая принцесса!

«Ну, уж это мы узнаем!» – подумала старая королева, но не сказала ни слова и пошла в спальню. Там она сняла с постели все тюфяки и подушки и положила на доски горошину; поверх горошины постлала двадцать тюфяков, а ещё сверху двадцать пуховиков. На эту постель и уложили принцессу на ночь. Утром её спросили, как она почивала.

– Ах, очень дурно! – сказала принцесса. – Я почти глаз не сомкнула! Бог знает, что у меня была за постель! Я лежала на чём-то таком твердом, что у меня всё тело теперь в синяках! Просто ужасно!

Тут-то все и увидели, что она была настоящею принцессой! Она почувствовала горошину через сорок тюфяков и пуховиков, – такою деликатною особой могла быть только настоящая принцесса.

И принц женился на ней. Теперь он знал, что берёт за себя настоящую принцессу! А горошину отправили в кунсткамеру; там она и лежит, если только никто её не украл. Знай, что история эта истинная!

Девочка со спичками

Как холодно было в этот вечер! Шёл снег, и сумерки сгущались. А вечер был последний в году – канун Нового года. В эту холодную и тёмную пору по улицам брела маленькая нищая девочка с непокрытой головой и босая. Правда, из дому она вышла обутая, но много ли было проку в огромных старых туфлях? Туфли эти прежде носила её мать – вот какие они были большие, – и девочка потеряла их сегодня, когда бросилась бежать через дорогу, испугавшись двух карет, которые мчались во весь опор. Одной туфли она так и не нашла, другую утащил какой-то мальчишка, заявив, что из неё выйдет отличная люлька для его будущих ребят.

Вот девочка и брела теперь босиком, и ножки её покраснели и посинели от холода. В кармане её старенького передника лежало несколько пачек серных спичек, а одну пачку она держала в руке. За весь этот день она не продала ни одной спички, и ей не подали ни гроша. Она брела голодная и продрогшая и так измучилась, бедняжка!

Снежинки садились на её длинные белокурые локоны, красиво рассыпавшиеся по плечам, но она, право же, и не подозревала о том, что они красивы. Изю всех окон лился свет, на улице вкусно пахло жареным гусем – ведь был канун Нового года. Вот о чём она думала!

Наконец девочка нашла уголок за выступом дома. Тут она села и съёжилась, поджав под себя ножки. Но ей стало ещё холоднее, а вернуться домой она не смела: ей ведь не удалось продать ни одной спички, она не выручила ни гроша, а она знала, что за это отец прибьёт её; к тому же, думала она, дома тоже холодно; они живут на чердаке, где гуляет ветер, хотя самые большие щели в стенах и заткнуты соломой и тряпками.

Ручонки её совсем заоченели. Ах, как бы их согрел огонёк маленькой спички! Если бы только она посмела вытащить спичку, чиркнуть ею о стену и погреть пальцы! Девочка робко вытянула одну спичку и... чирк! Как спичка вспыхнула, как ярко она загорелась! Девочка прикрыла её рукой, и спичка стала гореть ровным светлым пламенем, точно крохотная свечка.

Удивительная свечка! Девочке почудилось, будто она сидит перед большой железной печью с блестящими медными шариками и заслонками. Как славно пылает в ней огонь, каким теплом от него веет! Но что это? Девочка протянула ноги к огню, чтобы погреть их, – и вдруг... пламя погасло, печка исчезла, а в руке у девочки осталась обгорелая спичка.

Она чиркнула ещё одной спичкой, спичка загорелась, засветилась, и когда её отблеск упал на стену, стена стала прозрачной, как кисея. Девочка увидела перед собой комнату, а в ней стол, покрытый белоснежной скатертью и уставленный дорогим фарфором; на столе, распространяя чудесный аромат, стояло блюдо с жареным гусем, начиненным черносливом и яблоками! И всего чудеснее было то, что гусь вдруг спрыгнул со стола и, как был, с вилкой и ножом в спине, вперевалку заковылял по полу. Он шёл прямо к бедной девочке, но... спичка погасла, и перед бедняжкой снова встала непроницаемая, холодная, сырая стена.

Девочка зажгла ещё одну спичку. Теперь она сидела перед роскошной рождественской ёлкой. Эта ёлка была гораздо выше и наряднее той, которую девочка увидела в сочельник, подойдя к дому одного богатого купца и заглянув в окно. Тысячи свечей горели на её зелёных ветках, а разноцветные картинки, какими украшают витрины магазинов, смотрели на девочку. Малютка протянула к ним руки, но... спичка погасла. Огоньки стали уходить всё выше и выше и вскоре превратились в ясные звёздочки. Одна из них покатилась по небу, оставив за собой длинный огненный след.

«Кто-то умер», – подумала девочка, потому что её недавно умершая старая бабушка, которая одна во всём мире любила её, не раз говорила ей: «Когда падает звёздочка, чья-то душа отлетает к Богу».

Девочка снова чиркнула о стену спичкой и, когда всё вокруг осветилось, увидела в этом сиянии свою старенькую бабушку, такую тихую и просветлённую, такую добрую и ласковую.

– Бабушка, – воскликнула девочка, – возьми, возьми меня к себе! Я знаю, что ты уйдёшь, когда погаснет спичка, исчезнешь, как тёплая печка, как вкусный жареный гусь и чудесная большая ёлка!

И она торопливо чиркнула всеми спичками, оставшимися в пачке, – вот как ей хотелось удержать бабушку! И спички вспыхнули так ослепительно, что стало светлее, чем днем. Бабушка при жизни никогда не была такой красивой, такой величавой. Она взяла девочку на руки, и, озарённые светом и радостью, обе они вознеслись высоко-высоко – туда, где нет ни голода, ни холода, ни страха, – они вознеслись к Богу.

Морозным утром за выступом дома нашли девочку: на щёчках её играл румянец, на губах – улыбка, но она была мертва; она замёрзла в последний вечер старого года. Новогоднее солнце осветило мёртвое тельце девочки со спичками; она сожгла почти целую пачку.

– Девочка хотела погреться, – говорили люди. И никто не знал, какие чудеса она видела, среди какой красоты они вместе с бабушкой встретили Новогоднее Счастье.

Гречиха

Часто, когда после грозы идёшь полем, видишь, что гречиху опалило дочерна, будто по ней пробежал огонь; крестьяне в таких случаях говорят: «Это её опалило молнией!» Но почему?

А вот что я слышал от воробья, которому рассказывала об этом старая ива, растущая возле гречишного поля, – дерево такое большое, почтенное и старое-престарое, всё корявое, с трещиною посредине. Из трещины растут трава и ежевика; ветви дерева, словно длинные зелёные кудри, свешиваются до самой земли.

Поля вокруг ивы были засеяны рожью, ячменем и овсом – чудесным овсом, похожим, когда созреет, на веточки, усеянные маленькими жёлтенькими канарейками. Хлеба стояли прекрасные, и чем полнее были колосья, тем ниже склоняли они в смирении свои головы к земле.

Тут же, возле старой ивы, было поле с гречихой; гречиха не склоняла головы, как другие хлеба, а держалась гордо и прямо.

– Я не беднее хлебных колосьев! – говорила она. – Да к тому же ещё красивее. Мои цветы не уступят цветам яблони. Любо-дорого посмотреть! Знаешь ли ты, старая ива, кого-нибудь красивее меня?

Но ива только качала головой, как бы желая сказать: «Конечно, знаю!» А гречиха надменно говорила:

– Глупое дерево, у него от старости из желудка трава растёт!

Вдруг поднялась страшная непогода; все полевые цветы свернули лепестки и склонили свои головки; одна гречиха красовалась по-прежнему.

– Склони голову! – говорили ей цветы.

– Незачем! – отвечала гречиха.

– Склони голову, как мы! – закричали ей колосья. – Сейчас промчится под облаками ангел бури! Крылья его доходят до самой земли! Он снесёт тебе голову, прежде чем ты успеешь взмолиться о пощаде!

– Ну, а я всё-таки не склоню головы! – сказала гречиха.

– Сверни лепестки и склони голову! – сказала ей и старая ива. – Не гляди на молнию, когда она раздирает облака! Сам человек не дерзает этого: в это время можно заглянуть в самое небо Господне, а за такой грех Господь карает человека слепотой. Что же ожидает тогда нас? Ведь мы, бедные полевые злаки, куда ниже, ничтожнее человека!

– Ниже? – сказала гречиха. – Так вот же я возьму и загляну в небо Господне!

И она в самом деле решилась на это в своём горделивом упорстве. Тут такая сверкнула молния, как будто весь мир загорелся, когда же снова прояснилось, цветы и хлеба, освежённые и омытые дождём, радостно вдыхали в себя мягкий, чистый воздух. А гречиха была вся опалена молнией, она погибла и никуда больше не годилась.

Старая ива тихо шевелила ветвями на ветру; с зелёных листьев падали крупные дождевые капли; дерево будто плакало, и воробьи спросили его:

– О чём ты? Посмотри, как славно кругом, как светит солнышко, как бегут облака! А что за аромат несётся от цветов и кустов! О чём же ты плачешь, старая ива?

Тогда ива рассказала им о высокомерной гордости и о казни гречихи; гордость всегда ведь бывает наказана. От воробьёв же услышал эту историю и я: они прощепетали мне её как-то раз вечером, когда я просил их рассказать мне сказку.

Соловей

В Китае, как ты знаешь, и сам император и все его подданные – китайцы. Дело было давно, но потому-то и стоит о нём послушать, пока оно не забудется совсем!

В целом мире не нашлось бы дворца лучше императорского; он весь был из драгоценного фарфора, зато такой хрупкий, что страшно было до него дотронуться. В саду росли чудеснейшие цветы; к самым лучшим из них были привязаны серебряные колокольчики; звон их должен был обращать на цветы внимание каждого прохожего. Вот как тонко было придумано! Сад тянулся далеко-далеко, так далеко, что и сам садовник не знал, где он кончается. Из сада можно было попасть прямо в густой лес; в чаще его таились глубокие озера, и доходил он до самого синего моря. Корабли проплывали под нависшими над водой вершинами деревьев, и в ветвях их жил соловей, который пел так чудесно, что его заслушивался, забывая о своём неводе, даже бедный, удрученный заботами рыбак. «Господи, как хорошо!» – вырывалось наконец у рыбака, но потом бедняк опять принимался за своё дело и забывал о соловье, на следующую ночь снова заслушивался его и снова повторял то же самое: «Господи, как хорошо!»

Со всех концов света стекались в столицу императора путешественники; все они дивились на великолепный дворец и на сад, но, услышав соловья, говорили: «Вот это лучше всего!»

Возвращаясь домой, путешественники рассказывали обо всём виденном; ученые описывали столицу, дворец и сад императора, но не забывали упомянуть и о соловье и даже ставили его выше всего; поэты слагали в честь крылатого певца, жившего в лесу, на берегу синего моря, чудеснейшие стихи.

Книги расходились по всему свету, и вот некоторые из них дошли и до самого императора. Он восседал в своем золотом кресле, читал-читал и поминутно кивал головой – ему очень приятно было читать похвалы своей столице, дворцу и саду. «Но соловей лучше всего!» – стояло в книге.

– Что такое? – удивился император. – Соловей? А я ведь и не знаю его! Как? В моём государстве и даже в моём собственном саду живёт такая удивительная птица, а я ни разу и не слышал о ней! Пришлось вычитать о ней из книг!

И он позвал к себе первого из своих приближённых; а тот напускал на себя такую важность, что, если кто-нибудь из людей попроче осмеливался заговорить с ним или спросить его о чём-нибудь, отвечал только: «Пф!» – а это ведь ровно ничего не означает.

– Оказывается, у нас здесь есть замечательная птица, по имени соловей. Её считают главной достопримечательностью моего великого государства! – сказал император. – Почему же мне ни разу не доложили о ней?

– Я даже и не слышал о ней! – отвечал первый приближённый. – Она никогда не была представлена ко двору!

– Я желаю, чтобы она была здесь и пела предо мною сегодня же вечером! – сказал император. – Весь свет знает, что у меня есть, а сам я не знаю!

– И не слыхивал о такой птице! – повторил первый приближённый. – Но я разыщу её! Легко сказать! А где её разыщешь?

Первый приближённый императора бегал вверх и вниз по лестницам, по залам и коридорам, но никто из встречаемых, к кому он ни обращался с расспросами, и не слыхивал о соловье. Первый приближённый вернулся к императору и доложил, что соловья-де, верно, выдумали книжные сочинители.

– Ваше величество не должны верить всему, что пишут в книгах: всё это одни выдумки, так сказать, чёрная магия!..

– Но ведь эта книга прислана мне самым могущественнейшим императором Японии, и в ней не может быть неправды! Я хочу слышать соловья! Он должен быть здесь сегодня же вечером! Я объявляю ему мое высочайшее благоволение! Если же его не будет здесь в назначенное время, я прикажу после ужина всех придворных бить палками по животу!

– Тзинг-пе! – сказал первый приближённый и опять забежал вверх и вниз по лестницам, по коридорам и залам; с ним бегала и добрая половина придворных, – никому не хотелось отведать палок. У всех на языке был один вопрос: что это за соловей, которого знает весь свет, а при дворе ни одна душа не знает.

Наконец на кухне нашли одну бедную девочку, которая сказала:

– Господи! Как не знать соловья! Вот уж поёт-то! Мне позволено относить по вечерам моей бедной больной матушке остатки от обеда. Живёт матушка у самого моря, и вот, когда я иду назад и сяду отдохнуть в лесу, я каждый раз слышу пение соловья! Слёзы так и потекут у меня из глаз, а на душе станет так радостно, словно матушка целует меня!..

– Кухарочка! – сказал первый приближённый императора. – Я определю тебя на штатную должность при кухне и выхлопочу тебе позволение посмотреть, как кушает император, если ты сведёшь нас к соловью! Он приглашён сегодня вечером ко двору!

И вот все отправились в лес, где обыкновенно распевал соловей; отправилась туда чуть не половина всех придворных. Шли, шли, вдруг замычала корова.

– О! – сказали молодые придворные. – Вот он! Какая, однако, сила! И это у такого маленького созданища! Но мы положительно слышали его раньше!

– Это мычит корова! – сказала девочка. – Нам ещё далеко до места.

В пруду заквакали лягушки.

– Чудесно! – сказал придворный бонза. – Теперь я слышу! Точь-в-точь наши колокольчики в молельне!

– Нет, это лягушки! – сказала опять девочка. – Но теперь, я думаю, скоро услышим и его!

И вот запел соловей.

– Вот это соловей! – сказала девочка. – Слушайте, слушайте! А вот и он сам! – И она указала пальцем на маленькую серенькую птичку, сидевшую в ветвях.

– Неужели! – сказал первый приближённый императора. – Никак не воображал себе его таким! Самая простая наружность! Верно, он потерял все свои краски при виде стольких знатных особ!

– Соловушка! – громко закричала девочка. – Наш милостивый император желает послушать тебя!

– Очень рад! – ответил соловей и запел так, что просто чудо.

– Словно стеклянные колокольчики звенят! – сказал первый приближённый. – Глядите, как трепещет это маленькое горлышко! Удивительно, что мы ни разу не слышали его раньше! Он будет иметь огромный успех при дворе!

– Спеть ли мне императору ещё? – спросил соловей. Он думал, что тут был и сам император.

– Несравненный соловушка! – сказал первый приближённый императора. – На меня возложено приятное поручение пригласить вас на имеющий быть сегодня вечером придворный праздник. Не сомневаюсь, что вы очаруете его величество своим дивным пением!

– Пение моё гораздо лучше слушать в зелёном лесу! – сказал соловей, но, узнав, что император пригласил его во дворец, охотно согласился туда отправиться.



При дворе шли приготовления к празднику. В фарфоровых стенах и в полу сияли отражения бесчисленных золотых фонариков; в коридорах рядами были расставлены чудеснейшие цветы с колокольчиками, которые от всей этой беготни, стукотни и сквозняка звенели так, что не слышно было человеческого голоса. Посреди огромной залы, где сидел император, возвышался золотой шест для соловья. Все придворные были в полном сборе; позволили стоять в дверях и кухарочке, – теперь ведь она получила звание придворной поварихи. Все были разодеты в пух и прах и глаз не сводили с маленькой серенькой птички, которой император милостиво кивнул головой.

И соловей запел так дивно, что у императора выступили на глазах слёзы и покатились по щекам. Тогда соловей залился ещё громче, ещё слаще; пение его так и хватало за сердце. Император был очень доволен и сказал, что жалует соловью свою золотую туфлю на шею. Но соловей поблагодарил и отказался, говоря, что довольно награждён и без того.

– Я видел на глазах императора слёзы – какой ещё награды желать мне! В слезах императора дивная сила! Видит Бог – я награждён с избытком!

И опять зазвучал его чудный, сладкий голос.

– Вот самое очаровательное кокетство! – сказали придворные дамы и стали набирать в рот воды, чтобы она булькала у них в горле, когда они будут с кем-нибудь разговаривать. Этим они думали походить на соловья. Даже слуги и служанки объявили, что очень довольны, а это ведь много значит: известно, что труднее всего угодить этим особам. Да, соловей положительно имел успех.

Его оставили при дворе, отвели ему особую комнатку, разрешили гулять на свободе два раза в день и раз ночью и приставили к нему двенадцать слуг; каждый держал его за привязанную к его лапке шёлковую ленточку. Большое удовольствие было от такой прогулки!

Весь город заговорил об удивительной птице, и если встречались на улице двое знакомых, один сейчас же говорил: «соло», а другой подхватывал: «вей», после чего оба вздыхали, сразу поняв друг друга.

Одиннадцать сыновей мелочных лавочников получили имена в честь соловья, но ни у одного из них не было и признака голоса.

Раз императору доставили большой пакет с надписью: «Соловей».

– Ну, вот ещё новая книга о нашей знаменитой птице! – сказал император.

Но то была не книга, а затейливая штучка: в ящике лежал искусственный соловей, похожий на настоящего, но весь осыпанный бриллиантами, рубинами и сапфирами. Стоило завести птицу – и она начинала петь одну из мелодий настоящего соловья и поводить хвостиком, который отливал золотом и серебром. На шейке у птицы была ленточка с надписью: «Соловей императора японского жалок в сравнении с соловьем императора китайского».

– Какая прелесть! – сказали все придворные, и явившегося с птицей посланца императора японского сейчас же утвердили в звании «чрезвычайного императорского поставщика соловьев».

– Теперь пусть-ка споют вместе, вот будет дуэт!

Но дело не пошло на лад: настоящий соловей пел по-своему, а искусственный – как заведённая шарманка.

– Это не его вина! – сказал придворный капельмейстер. – Он безукоризненно держит такт и поёт совсем по моей методе.

Искусственного соловья заставили петь одного. Он имел такой же успех, как настоящий, но был куда красивее, весь так и блестел драгоценностями!

Тридцать три раза пропел он одно и то же и не устал. Окружающие охотно послушали бы его ещё раз, да император нашёл, что надо заставить спеть и живого соловья. Но куда же он девался?

Никто и не заметил, как он вылетел в открытое окно и унесся в свой зелёный лес.

– Что же это, однако, такое! – огорчился император, а придворные назвали соловья неблагоприятной тварью.

– Лучшая-то птица у нас всё-таки осталась! – сказали они, и искусственному соловью пришлось петь то же самое в тридцать четвертый раз.

Никто, однако, не успел ещё выучить мелодии наизусть, такая она была трудная. Капельмейстер расхваливал искусственную птицу и уверял, что она даже выше настоящей не только платьем и бриллиантами, но и по внутренним своим достоинствам.

– Что касается живого соловья, высокий повелитель мой и вы, милостивые господа, то никогда ведь нельзя знать заранее, что именно споет он, у искусственного же всё известно наперёд! Можно даже отдать себе полный отчёт в его искусстве, можно разобрать его и показать все его внутреннее устройство – плод человеческого ума, расположение и действие валиков, всё, всё!

– Я как раз того же мнения! – сказал каждый из присутствовавших, и капельмейстер получил разрешение показать птицу в следующее же воскресенье народу.

– Надо и народу послушать её! – сказал император.

Народ послушал и был очень доволен, как будто вдоволь напился чаю, – это ведь совершенно по-китайски. От восторга все в один голос восклицали: «О!», поднимали вверх указательные пальцы и кивали головами. Но бедные рыбаки, слышавшие настоящего соловья, говорили:

– Недурно и даже похоже, но всё-таки не то! Чего-то недостаёт в его пении, а чего – мы и сами не знаем!

Живого соловья объявили изгнанным из пределов государства.

Искусственная птица заняла место на шёлковой подушке возле императорской постели. Кругом неё были разложены все пожалованные ей драгоценности. Величали же её теперь «императорского ночного столика первым певцом с левой стороны», – император считал более важною именно ту сторону, на которой находится сердце, а сердце находится

слева даже у императора. Капельмейстер написал об искусственном соловье двадцать пять томов, ученых-преучёных и полных самых мудреных китайских слов.

Придворные, однако, говорили, что читали и поняли всё, иначе ведь их прозвали бы дураками и отколотили палками по животу.

Так прошел целый год; император, весь двор и даже весь народ знали наизусть каждую нотку искусственного соловья, но потому-то пение его им так и нравилось: они сами могли теперь подпевать птице. Уличные мальчишки пели: «Ци-ци-ци! Клюк-клюк-клюк!» Сам император напевал то же самое. Ну что за прелесть!

Но раз вечером искусственная птица только что распелась перед императором, лежавшим в постели, как вдруг внутри её зашипело, зажужжало, колеса завертелись, и музыка смолкла.

Император вскочил и послал за придворным медиком, но что же мог тот поделать! Призвали часовщика, и этот после долгих разговоров и осмотров кое-как исправил птицу, но сказал, что с ней надо обходиться крайне бережно: зубчики поистерлись, а поставить новые так, чтобы музыка шла по-прежнему, верно, было нельзя. Вот так горе! Только раз в год позволили заводить птицу. И это было очень грустно, но капельмейстер произнес краткую, зато полную мудреных слов речь, в которой доказывал, что птица ничуть не сделалась хуже. Ну, значит, так оно и было. Прошло ещё пять лет, и страну постигло большое горе: все так любили императора, а он, как говорили, был при смерти. Провозгласили уже нового императора, но народ толпился на улице и спрашивал первого приближённого императора о здоровье своего старого повелителя.

– Пф! – отвечал приближённый и покачивал головой.

Бледный, похолодевший лежал император на своем великолепном ложе; все придворные считали его умершим, и каждый спешил поклониться новому императору. Слуги бегали взад и вперёд, перебрасываясь новостями, а служанки проводили приятные часы в болтовне за чашкой чая. По всем залам и коридорам были разостланы ковры, чтобы не слышно было шума шагов, и во дворце стояла мёртвая тишина. Но император ещё не умер, хотя и лежал на своем великолепном ложе, под бархатным балдахином с золотыми кистями, совсем недвижимый и мертвенно-бледный. Сквозь раскрытое окно глядел на императора и искусственного соловья ясный месяц.

Бедный император почти не мог вздохнуть, и ему казалось, что Кто-то сидит у него на груди. Он приоткрыл глаза и увидел, что на груди у него сидела Смерть. Она надела на себя корону императора, забрала в одну руку его золотую саблю, а в другую – богатое знамя. Из складок бархатного балдахина выглядывали какие-то странные лица: одни гадкие и мерзкие, другие добрые и милые. То были злые и добрые дела императора, смотревшие на него, в то время как Смерть сидела у него на груди.

– Помнишь это? – шептали они по очереди. – Помнишь это? – и рассказывали ему так много, что на лбу у него выступал холодный пот.

– Я и не знал об этом! – говорил император. – Музыку сюда, музыку! Большие китайские барабаны! Я не хочу слышать их речей!

Но они всё продолжали, а Смерть, как китаец, кивала на их речи головой.

– Музыку сюда, музыку! – кричал император. – Пой хоть ты, милая, славная золотая птичка! Я одарил тебя золотом и драгоценностями, я повесил тебе на шею свою золотую туфлю, пой же, пой!

Но птица молчала – некому было завести её, а иначе она петь не могла. Смерть продолжала смотреть на императора своими большими пустыми глазницами. В комнате было тихо-тихо.

Вдруг за окном раздалось чудное пение. То прилетел, узнав о болезни императора, утешить и ободрить его живой соловей. Он пел, и призраки всё бледнели, кровь приливала

к сердцу императора всё быстрее; сама Смерть заслушалась соловья и все повторяла: «Пой, пой ещё, соловушка!»

– А ты отдашь мне за это драгоценную саблю? А дорогое знамя? А корону? – спрашивал соловей.

И Смерть отдавала одну драгоценность за другою, а соловей всё пел. Вот он запел, наконец, о тихом кладбище, где цветут белые розы, благоухает бузина и свежая трава орошается слезами живых, оплакивающих усопших... Смерть вдруг охватила такая тоска по своему саду, что она свилась в белый холодный туман и вылетела в окно.

– Спасибо, спасибо тебе, милая птичка! – сказал император. – Я помню тебя! Я изгнал тебя из моего государства, а ты отогнала от моей постели ужасные призраки, отогнала саму Смерть! Чем мне вознаградить тебя?

– Ты уже вознаградил меня раз и навсегда! – сказал соловей. – Я видел слёзы на твоих глазах в первый раз, как пел перед тобою, – этого я не забуду никогда! Слёзы – вот драгоценнейшая награда для сердца певца. Но засни теперь и просыпайся здоровым и бодрым! Я буду баюкать тебя своею песней!

И он запел опять, а император заснул здоровым, благодатным сном.

Когда он проснулся, в окна уже светило солнце. Никто из его слуг не заглядывал к нему; все думали, что он умер, один соловей сидел у окна и пел.

– Ты должен остаться у меня навсегда! – сказал император. – Ты будешь петь, только когда сам захочешь, а искусственную птицу я разобью вдребезги!

– Не надо! – сказал соловей. – Она принесла столько пользы, сколько могла! Пусть она остаётся у тебя по-прежнему! Я же не могу жить во дворце. Позволь мне только прилетать к тебе, когда захочу. Тогда я каждый вечер буду садиться у твоего окна и петь тебе; моя песня и порадует тебя, и заставит задуматься. Я буду петь тебе о счастливых и о несчастных, о добре и о зле, что таятся вокруг тебя. Маленькая певчая птичка летает повсюду, залетает и под крышу бедного рыбака и крестьянина, которые живут вдали от тебя. Я люблю тебя за твоё сердце больше, чем за твою корону, и всё же корона окружена каким-то особым священным обаянием! Я буду прилетать и петь тебе! Но обещай мне одно!..

– Всё! – сказал император и встал во всем своем царственном величии; он успел надеть на себя своё императорское одеяние и прижимал к сердцу тяжёлую золотую саблю.

– Об одном прошу я тебя – не говори никому, что у тебя есть маленькая птичка, которая рассказывает тебе обо всём. Так дело пойдёт лучше!

И соловей улетел.

Слуги вошли поглядеть на мёртвого императора и застыли на пороге, а император сказал им:

– С добрым утром!

Штопальная игла



Жила-была штопальная игла; она считала себя такой тонкой, что воображала, будто она швейная иголка.

– Смотрите, смотрите, что вы держите! – сказала она пальцам, когда они вынимали её. – Не уроните меня! Упаду на пол – чего доброго, затеряюсь: я слишком тонка!

– Будто уж! – ответили пальцы и крепко обхватили её за талию.

– Вот видите, я иду с целой свитой! – сказала штопальная игла и потянула за собой длинную нитку, только без узелка.

Пальцы ткнули иглу прямо в кухаркину туфлю, – кожа на туфле лопнула, и надо было зашить дыру.

– Фу, какая чёрная работа! – сказала штопальная игла. – Я не выдержу! Я сломаюсь! И вправду сломалась.

– Ну вот, я же говорила, – сказала она. – Я слишком тонка!

«Теперь она никуда не годится», – подумали пальцы, но им всё-таки пришлось крепко держать её: кухарка накапала на сломанный конец иглы сургуч и потом заколола ею косынку.

– Вот теперь я – брошка! – сказала штопальная игла. – Я знала, что буду в чести: в ком есть толк, из того всегда выйдет что-нибудь путное.

И она засмеялась про себя, – ведь никто не видал, чтобы штопальные иглы смеялись громко, – она сидела в косынке, словно в карете, и поглядывала по сторонам.

– Позвольте спросить, вы из золота? – обратилась она к соседке-булавке. – Вы очень милы, и у вас собственная головка... Только маленькая! Постарайтесь её отрастить, – не всякому ведь достаётся сургучная головка!

При этом штопальная игла так гордо выпрямилась, что вылетела из платка прямо в раковину, куда кухарка как раз выливала помой.

– Отправляюсь в плаванье! – сказала штопальная игла. – Только бы мне не затеряться! Но она затерялась.

– Я слишком тонка, я не создана для этого мира! – сказала она, лежа в уличной канаве. – Но я знаю себе цену, а это всегда приятно.

И штопальная игла вытянулась в струнку, не теряя хорошего расположения духа.

Над ней проплывала всякая всячина: щепки, соломинки, клочки газетной бумаги...

– Ишь, как плывут! – говорила штопальная игла. – Они и понятия не имеют о том, кто скрывается тут под ними. Это я тут скрываюсь! Я тут сижу! Вон плывет щепка: у неё только и мыслей, что о щепках. Ну, щепкой она век и останется! Вот соломинка несётся... Вертится-то, вертится-то как! Не задирай так носа! Смотри, как бы не наткнуться на камень! А вон газетный обрывок плывёт. Давно уж забыть успели, что на нем напечатано, а он, гляди, как развернулся!.. Я лежу тихо, смиренно. Я знаю себе цену, и этого у меня не отнимут!

Раз возле неё что-то заблестело, и штопальная игла вообразила, что это бриллиант. Это был бутылочный осколок, но он блестел, и штопальная игла заговорила с ним. Она назвала себя брошкой и спросила его:

– Вы, должно быть, бриллиант?

– Да, нечто в этом роде.

И оба думали друг про друга и про самих себя, что они настоящие драгоценности, и говорили между собой о невежественности и надменности света.

– Да, я жила в коробке у одной девицы, – рассказывала штопальная игла. – Девица эта была кухаркой. У неё на каждой руке было по пяти пальцев, и вы представить себе не можете, до чего доходило их чванство! А ведь занятие у них было только одно – вынимать меня и класть обратно в коробку!

– А они блестили? – спросил бутылочный осколок.

– Блестили? – отвечала штопальная игла. – Нет, блеску в них не было, зато сколько высокомерия!.. Их было пять братьев, все – урождённые «пальцы»; они всегда стояли в ряд, хоть и были различной величины. Крайний – Толстяк, – впрочем, отстоял от других, он был толстый коротышка, и спина у него гнулась только в одном месте, так что он мог кланяться только раз; зато он говорил, что если его отрубят, то человек не годится больше для военной службы. Второй – Лакомка – тыкал свой нос всюду: и в сладкое и в кислое, тыкал и в солнце и в луну; он же нажимал перо, когда надо было писать. Следующий – Долговязый – смотрел на всех свысока. Четвёртый – Златоперст – носил вокруг пояса золотое кольцо, и, наконец, самый маленький – Пер-музыкант – ничего не делал и очень этим гордился. Да, они только и знали, что хвастаться, и вот – я бросилась в раковину.

– А теперь мы сидим и блестим! – сказал бутылочный осколок.

В это время воды в канаве прибыло, так что она хлынула через край и унесла с собой осколок.

– Он продвинулся! – вздохнула штопальная игла. – А я осталась лежать! Я слишком тонка, слишком деликатна, но я горжусь этим, и это благородная гордость!

И она лежала, вытянувшись в струнку, и передумала много дум.

– Я просто готова думать, что родилась от солнечного луча, – так я тонка! Право, кажется, будто солнце ищет меня под водой! Ах, я так тонка, что даже отец мой солнце не может меня найти! Не лопни тогда мой глазок¹, я бы, кажется, заплакала! Впрочем, нет, плакать неприлично!

¹ Игольное ушко по-датски называется игольным глазком.

Однажды пришли уличные мальчишки и стали копать в канавке, выискивая старые гвозди, монетки и прочие сокровища. Перепачкались они страшно, но это-то и доставляло им удовольствие!

– Ай! – закричал вдруг один из них: он укололся о штопальную иглу. – Смотри, какая штука!

– Я не штука, а барышня! – заявила штопальная игла, но её никто не расслышал. Сургуч с неё сошел, и она вся почернела, но в чёрном всегда выглядишь стройнее, и игла воображала, что стала еще тоньше прежнего.

– Вон плывет яичная скорлупа! – закричали мальчишки, взяли штопальную иглу и воткнули в скорлупу.

– Чёрное на белом фоне очень красиво! – сказала штопальная игла. – Теперь меня хорошо видно! Только бы не поддаться морской болезни, этого я не выдержу: я такая хрупкая!

Но она не поддалась морской болезни – выдержала.

– Против морской болезни хорошо иметь стальной желудок, и всегда надо помнить, что ты не то, что простые смертные! Теперь я совсем оправилась. Чем ты благороднее, тем больше можешь перенести!

– Крак! – сказала яичная скорлупа: её переехала ломовая телега.

– Ух, как давит! – завопила штопальная игла. – Сейчас меня стошнит! Не выдержу! Сломаюсь!

Но она выдержала, хотя её и переехала ломовая телега; она лежала на мостовой, вытянувшись во всю длину, – ну и пусть себе лежит!

Тётушка Зубная Боль

I

Откуда мы взяли эту историю? Хочешь знать?

Из бочки мелочного торговца, что битком набита старою бумагою.

Немало хороших и редких книг попадает в бочки мелочных торговцев, не как материал для чтения, а как предмет первой необходимости: надо же во что-нибудь завёртывать крахмал, кофе, селёдки, масло и сыр! Годятся для этого и рукописи. И вот в бочку к лавочнику часто попадает то, чему бы там быть вовсе не следовало. Я знаком с подручным из одной бакалейной лавки; он, собственно, сын мелочного торговца из подвала, но сумел подняться оттуда в магазин первого этажа. Молодой человек очень начитан: у него ведь под рукой целая бочка всякого чтения, и печатного и рукописного. И вот мало-помалу у него составилось преинтересное собрание. В собрание это входят, между прочим, кое-какие важные документы из корзинки для ненужных бумаг чересчур занятого или рассеянного чиновника и откровенные записочки от приятельниц к приятельницам, содержащие такие скандальные сообщения, о которых, собственно говоря, нельзя бы и заикаться. Боже сохрани! А уж передавать их дальше – и подавно! Собрание моего знакомого – настоящая спасательная станция для многих литературных произведений, и поле его деятельности тем обширнее, что в его распоряжении бочки из двух лавок – хозяйской и отцовской. Много поэтому удалось ему спасти и книг, и отдельных страниц, которые стоило перечесть и два раза.

Он и показал мне однажды своё собрание интересных печатных и рукописных произведений, извлечённых главным образом из бочки мелочного торговца. Между прочим, я обратил внимание на несколько страниц, вырванных из большой тетради; необыкновенно красивый и чёткий почерк сразу бросился мне в глаза.

– Это писал студент! – сказал молодой человек. – Он жил вон в том доме напротив и умер месяц тому назад. Он, как видно из этих страниц, страшно мучился зубами. Описано довольно забавно! Тут осталось немного, а была целая тетрадь; родители мои дали за неё квартирной хозяйке студента полфунта зелёного мыла; но вот всё, что мне удалось спасти.

Я попросил его дать мне прочесть эти страницы и теперь привожу их здесь. Заглавие гласило:

«Тётушка Зубная Боль.

В детстве тётушка страшно пичкала меня сладстями; однако зубы мои выдержали, не испортились. Теперь я стал постарше, сделался студентом, но она всё ещё продолжает угощать меня сладким – уверяет, что я поэт.

Во мне, правда, есть кое-какие поэтические задатки, но я ещё не настоящий поэт. Часто, когда я брожу по улицам, мне кажется, что я в огромной библиотеке; дома представляются мне этажерками, а каждый этаж – книжною полкою. На них стоят и обыкновенные истории, и хорошие старинные комедии, и научные сочинения по всем отраслям, и всякая литературная гниль, и хорошие произведения – словом, я могу тут фантазировать и философствовать вволю!

Да, во мне есть поэтическая жилка, но я ещё не настоящий поэт. Такая жилка есть, пожалуй, и во многих людях, а они всё-таки не носят бляхи или ошейника с надписью «поэт».

И им, как и мне, дана от Бога благодатная способность, поэтический дар, вполне достаточный для собственного обихода, но чересчур маленький, чтобы делиться им с другими

людьми. Дар этот озаряет сердце и ум, как солнечный луч, наполняет их ароматом цветов, убаюкивает дивными, мелодичными звуками, которые кажутся такими родными, знакомыми, где же слышал их впервые – вспомнить не можешь.

Прошлым вечером я сидел в своей каморке, изнывая от желания почитать, но у меня не было ни книги, ни даже единого печатного листка, и вдруг на стол ко мне упал листок – свежий, зелёный листок липы. Его занесло ко мне в окно ветерком.

Я стал рассматривать бесчисленные разветвления жилок. По листку ползала маленькая букашка, словно задавшаяся целью обстоятельно изучить его, и я невольно задумался о нас – людях. Ведь и мы все ползаем по маленькому листку, знаем один лишь этот листок и всё-таки сплеча берёмся читать лекцию о всём великом дереве – и о корне его, и о стволе, и о вершине: мы толкуем и о Боге, и о человечестве, и о бессмертии, а знаем-то всего-навсего один листок!

Тут пришла ко мне в гости тётушка Милле. Я показал ей листок с букашкой и передал, что мне пришлось по этому поводу в голову. Глаза у тётушки загорелись.

– Да ты поэт! – вскричала она. – Пожалуй, величайший из современных поэтов! Дожить бы мне только до твоей славы, и я бы охотно умерла! Ты всегда, с самых похо-рон пивовара Расмусена, поражал меня своею удивительною фантазией! – С этими словами тётушка расцеловала меня.

Кто же такая была тётушка Милле, и кто такой пивовар Расмусен?

II

Тётушкою мы, дети, звали тётку нашей матери; другого имени подобрать ей мы не умели.

Она страшно пичкала нас вареньем и сахаром, хотя всё это могло испортить наши зубы, но она питала к милым деткам такую слабость, что считала просто жестоким отказывать им в сладостях, которые они так любят! Зато и мы очень любили тётушку.

Она была старою девою, и с тех самых пор, как я её помню, всё одних лет! Она как будто застыла в одном возрасте.

В молодости тётушка сильно страдала зубами и так часто рассказывала об этом, что остроумный друг ее, пивовар Расмусен, прозвал её «тётушкой Зубною Болью».

В последние годы он уже оставил своё занятие и жил доходами от капитала. Он был постарше тётушки и часто навещал её. Вот у него так и совсем не было зубов, а кое-где торчали только чёрные корешки. Дело в том, – рассказывал он нам, детям, – что мальчиком он ел чересчур много сладкого, и вот что из этого вышло!

А тётушка так, должно быть, совсем не ела в детстве ничего сладкого, – зубы у неё были белые-пребелые!

– Зато она и бережёт-то их как! – говорил пивовар. – Даже не спит с ними ночью!

Мы, дети, почуяли в этих словах какой-то злой намек, но тётя уверила нас, что это он сказал только так.

Однажды за завтраком она рассказала, что ей приснился дурной сон: будто бы у нее выпал зуб!

– И это означает, – прибавила она, – что я лишусь истинного друга или подруги!

– Ну, а если это был фальшивый зуб, – усмехнулся пивовар, – то, значит, вы лишитесь только фальшивого друга!

– Вы невежливый старый господин! – сердито проговорила тётушка; такую сердитою я не видывал её никогда, ни прежде, ни после.

По уходе пивовара она, впрочем, сказала нам, что старый друг её хотел только пошутить, что он благороднейший человек на свете и, когда умрёт, станет Божьим ангелочком на небе!

Я сильно задумался над этим превращением, спрашивая себя, узнаю ли я пивовара в новом виде?

Когда и тётя и он были еще молоды, он сватался за неё, но она слишком долго раздумывала, ну, и засела в девках, хотя и осталась ему верным другом.

И вот пивовар Расмусен умер.

Его везли на самой дорогой погребальной колеснице; за нею тянулся длинный хвост провожатых; между ними были даже господа в орденах и мундирах!

Тётушка, вся в трауре, смотрела на процессию из окна, собрав около себя всех нас, ребят, кроме младшего братца, которого за неделю перед тем принес нам аист.

Колесница проехала, скрылись из виду и все провожавшие её; улица опустела, и тётушка хотела отойти от окна, но я не хотел – я ждал ангелочка: пивовар Расмусен превратился ведь теперь в ангелочка с крылышками и должен был показаться нам!

– Тётя! – сказал я. – Как ты думаешь, ангелочек Расмусен появится сейчас или, может быть, его принесет аист, когда опять вздумает прилететь к нам с маленьким братцем?

Тётушка была просто поражена моею богатою фантазией и сказала: «Из этого мальчика выйдет великий поэт!» И она повторяла это всё время, пока я ходил в школу, повторяла, когда я уже конфирмовался, и даже теперь, когда я стал студентом.

Да, тётушка принимала и продолжает принимать живейшее участие и в моем поэтическом и в зубном недуге. Я страдаю по временам припадками и того и другого.

– Только выливай на бумагу все твои мысли! – говорила она. – И бросай их в ящик стола! Так делал Жан-Поль и сделался великим поэтом, хотя я и недолюбливаю его! Он как-то не захватывает! А ты должен захватывать! И будешь!

Всю ночь после этого разговора я провел в муках, сгорая желанием стать тем великим поэтом, которого видела и угадала во мне тетюшка. Да, я мучился припадком поэтического недуга! Но есть ещё худший недуг: зубная боль! Та могла доконать, уничтожить меня вконец, превратить в какого-то извивающегося червя, обложенного припарками и шпанскими мушками!

– Мне эта боль знакома! – говорила тётушка, сострадательно улыбаясь, а зубы её при этом так и сверкали белизною.

Но теперь наступает новая глава как в описании моей жизни, так и в описании жизни тётушки.

III

Я перебрался на новую квартиру, прожил в ней уже с месяц и вот как описывал своё жилище в разговоре с тётушкою.

– Живу я в «тихом семействе»; хозяева не обращают на меня внимания – даже если я звоню три раза подряд. В доме нашем постоянный крик, шум, гам и сквозняки. Комната моя приходится как раз над воротами, и стоит проехать под ними телеге – все картины так и заходят по стенам; ворота захлопываются, и весь дом содрогается, словно от землетрясения. Если я лежу в постели, сотрясение отдаётся у меня во всём теле, но это, говорят, укрепляет нервы. В сильный ветер, а у нас тут вечно сильный ветер, железные болты ставень раскачиваются и бьют о стену, а колокольчик на соседнем дворе звонит без умолку.

Соседи мои по дому возвращаются домой не все в один час, а так, понемножку, один за другим, кто поздним вечером, кто даже ночью. Верхний жилец, что играет на тромбоне, целый день ходит по урокам, возвращается домой позже всех и ни за что не уляжется, прежде

чем не совершит маленькую ночную прогулку взад и вперед по комнате; тяжелые шаги его так и раздаются у меня в ушах, словно сапожищи у него подкованы железом.

В доме нет двойных рам, зато в моей комнате есть окно с выбитым стеклом. Хозяйка залепила его бумагой, но ветер всё-таки пробирается сквозь скважину и гудит, словно шмель. Это колыбельная песня. Но едва я наконец усну под нее, меня живо разбудит петушиное кукареку. Это петухи и куры мелочного торговца возвещают скорое наступление утра. Маленькие пони, которые помещаются в чуланчике под лестницею – для них не имеется особого стойла, – лягаются ради моциона и стучат копытами о двери.

Занимается заря; привратник, ночующий со всей семьей на чердаке, грузно спускается по лестнице; деревянные башмаки его стучат, ворота скрипят и хлопают, дом ходит ходуном. Когда же и это всё кончено, над головою моею начинаются гимнастические упражнения верхнего жильца. Он берёт в обе руки по тяжёлой гире, но сдержать их не в силах, и они поминутно падают на пол. В это же время подымается на ноги и вся детвора в доме и с шумом и криком спешит в школу. Я подхожу к окну подышать свежим воздухом – свежий воздух так подкрепляет! Но рассчитывать на него я могу лишь в том случае, если девица, живущая в заднем флигеле, не чистит перчаток бензином, а она этим только и живёт! И всё-таки это очень хороший дом, и живу я в очень тихом семействе!

Вот как я описал тётушке мое житьё-бытьё. Описание это вышло в устной передаче ещё живее; устное слово всегда ведь свежее, жизненнее написанного!

– Ты положительно поэт! – вскричала тётушка. – Только изложи всё на бумаге, и ты тот же Диккенс! А по мне, так и ещё интереснее! Ты просто рисуешь словами! Слушая тебя, так вот всё и видишь перед собой, сама переживаешь всё! Брр! Даже дрожь пробирает! Продолжай же творить! Но вводи в свои описания и живых лиц, людей хороших, милых людей, лучше же всего – несчастных!

Вот я и описал здесь мой дом, каков он есть, со всеми его прелестями, но действующих лиц пока никаких, кроме себя самого, не вывел. Они явятся позже!

IV

Дело было зимою, поздно вечером. Погода стояла ужасная – такая вьюга, что с трудом можно было пробираться по улице.

Тётушка отправилась в театр и взяла меня с собой, – я должен был потом проводить её домой. Но тут и одному-то едва-едва можно было двигаться, а не то что с дамой! Все извозчики были разобраны; тётушка жила далеко от театра, а я, напротив, очень близко; если бы не это, нам с ней пришлось бы засесть в первой сторожевой будке!

Мы вязли в сугробах, нас заносило снегом; я поддерживал, подымал, подталкивал тётушку, и мы упали всего два раза, да и то на мягкую подстилку.

Наконец мы добрались до ворот моего дома и стряхнули с себя хлопья снега, на лестнице отряхнулись опять и всё-таки, войдя в самую квартиру, засыпали снегом весь пол в передней.

Затем мы поснимали с себя и верхнее и нижнее платье – всё, что только можно было снять. Хозяйка моя одолжила тётушке сухие чулки и чепчик – самое необходимое, по словам доброй женщины, – и затем совершенно резонно объявила, что тётушке в такую погоду нечего и думать добраться до дому, так пусть переночует в гостиной, где ей устроят постель на диване возле запертой на ключ двери в мою спальню.

Так всё и сделали.

В печке у меня развели огонь, на столе появился чайник, в комнатке стало тепло, уютно, хоть и не так, как у тётушки. У нее зимою и двери, и окна плотно завешаны толстыми гардинами, полы устланы двойными коврами, под которыми положен еще тройной слой толстой

бумаги, – сидишь словно в закупоренной бутылке, наполненной тёплым воздухом! Но и у меня, как сказано, стало очень уютно. За окном выл ветер.

Тётушка говорила без умолку; на сцену выступили старые воспоминания: юные годы, пивовар Расмусен и прочее. Тётушка припомнила даже, как у меня прорезался первый зубок и какая была по этому поводу радость в семье.

Да, первый зубок! Зуб невинности, блестящий, как молочная капелька, молочный зуб!

Прорезался один, за ним другой, третий, и вот выстраиваются целых два ряда, один сверху, другой снизу, чудеснейших детских зубов! Но это ещё только авангард, а не настоящая армия, которая должна будет служить нам всю жизнь. Но вот является и она, а за нею и зубы мудрости, фланговые, прорезывающиеся с такою болью и трудом!

А потом они мало-помалу и выбывают из строя, выбывают все до единого, и даже раньше времени, не отслужив всего срока! Наконец настает день: нет и последнего служивого, и день этот уже не праздник, а день печали. С этого дня ты старик, как бы ни был молод душой!

Не очень-то весело думать и говорить о таких вещах, а мы с тётушкой всё-таки заговорили о них, вернулись затем к годам детства и болтали, болтали без конца. Было уже за полночь, когда тётушка наконец удалилась на покой в соседнюю комнату.

– Покойной ночи, милый мой мальчик! – крикнула она мне из двери. – Теперь я засну, словно на своей собственной постели!

И она уgomонилась. Но дом наш и погоду никакой уgomон не брал! Буря дребезжала оконными стёклами, хлопала длинными железными болтами ставен и звонила на соседнем дворе в колокольчик; верхний жилец вернулся домой и принялся расхаживать перед сном взад и вперёд, потом швырнул на пол свои сапожищи и наконец захрапел так, что слышно было через потолок.

Я не мог успокоиться; не успокаивалась и погода; она вела себя непозволительно резво. Ветер выл на свой лад, а зубы мои начали ныть на свой. Это была прелюдия к зубной боли!

Из окна дуло. Лунный свет падал прямо на пол; временами по нему пробегали какие-то тени, словно облачка, гонимые бурей. Тени скользили и перебегали, но наконец одна из них приняла определенные очертания; я смотрел на её движения и чувствовал, что меня пробирает мороз.

На полу сидело видение – худая длинная фигура, вроде тех, что рисуют маленькие дети грифелем на аспидной доске: длинная тонкая черта изображает тело, две по бокам – руки, две внизу – ноги, и многоугольник наверху – голову.

Скоро видение приняло ещё более ясные очертания; обрисовалось одеяние, очень тонкое, туманное, но всё же ясно указывающее на особу женского пола.

Я услышал жужжание. Призрак ли то гудел, или ветер жужжал, как шмель, застрявший в оконной скважине?

Нет, это гудела она! Это была сама госпожа Зубная Боль, её окаянное величество, исчадие самого ада! Да сохранит и помилует от неё Бог всякого!

– Тут славно! – гудела она. – Славное местечко, болотистая почва! Тут водились комары; у них яд в жалах, и я тоже достала себе жало, надо только отточить его о человеческие зубы! Ишь, как они блестят вон у того, что растянулся на кровати! Они устояли и против сладкого и против кислого, против горячего и холодного, против орехов и сливовых косточек! Так я ж расшатаю их, развинчу, наполню корни сквозняком! То-то засвистит в них!

Ужасные речи, ужасная гостья!

– А, так ты поэт! – продолжала она. – Ладно, я научу тебя всем размерам мук! Я примусь за тебя, прижгу тебя калёным железом, продерну веревки во все твои нервы!

В челюсть мне как будто вонзили раскалённое шило; я скорчился от боли, начал извиваться, как червь.

– Чудесный материал! – продолжала она. – Настоящий орган для игры! И задам же я сейчас концерт! Загремят и барабаны, и трубы, и флейты, а в зубе мудрости – тромбон! Великому поэту – великая и музыка!

И вот она начала играть! Вид у неё был ужасный, нужды нет, что я видел одну её руку, эту туманную, холодную как лёд руку с длинными, тонкими, шилообразными пальцами. Каждый был орудием пытки: большой и указательный образовывали клещи, средний был острым шилом, безымянный – буравом и мизинец – спринцовкой с комариным ядом.

– Я научу тебя всем размерам! – опять начала она. – Великому поэту – великая и зубная боль, а маленькому поэту – маленькая!

– Так пусть я буду маленьким! – взмолился я. – Пусть совсем не буду поэтом! Да я и не поэт! На меня только находят временами припадки стихотворного недуга, как находят и припадки зубного! Уйди же! Уйди!

– Так ты признаешь, что я могущественнее поэзии, философии, математики и всей этой музыки? – спросила она. – Могущественнее всех человеческих чувств и ощущений, изваянных из мрамора и написанных красками? Я ведь и старше их всех! Я родилась у самых ворот рая, где дул холодный ветер и росли от сырости грибы. Я заставила Еву одеваться в холодную погоду, да и Адама тоже! Да уж поверь, что первая зубная боль имела силу!

– Верю! – сказал я. – Верю всему! Уйди же, уйди!

– А ты откажешься от желания стать поэтом, писать стихи – на бумаге, грифельной доске, на чём бы то ни было? Тогда я оставлю тебя! Но я вернусь, как только ты опять возьмёшься за стихи!

– Клянусь, оставлю всё! – сказал я. – Только бы мне никогда больше не видеть, не чувствовать тебя!

– Видеть-то ты меня будешь, только в более приятном и дорогом для тебя образе – в образе тётушки Милле, и я буду говорить тебе: «Сочиняй, мой милый мальчик! Ты великий поэт; пожалуй, величайший из наших поэтов!» Но если ты согласишься мне и возьмёшься за кропание стихов, я положу твои стихи на музыку и разыграю её на твоих зубах! Так-то, милый мальчик! Помни же обо мне, беседуя с тетушкой Милле!

Тут она исчезла.

На прощание я получил в челюсть ещё один укол раскалённым шилом. Но вот боль начала утихать... Я как будто скользил по зеркальной глади озера, вокруг меня цвели белые кувшинки с широкими зелеными листьями... Они колыхались, погружались подо мною, увядали, распадались в прах, и я погружался вместе с ними, погружался в какую-то тихую бездну... Покой, тишина!.. «Умереть, растаять, как снежинка, испариться, превратиться в облако и растаять, как облако!» – звучало вокруг меня в воде.

Сквозь прозрачную воду я видел сияние великих имён, надписи на развевающихся победных знаменах, патенты на бессмертие, начертанные на крыльях мухи-поденки.

Я погрузился в глубокий сон, без сновидений, и не слышал больше ни воя ветра, ни хлопанья ворот, ни звона колокольчика, ни гимнастики верхнего жильца.

Блаженство!

Вдруг налетел такой порыв ветра, что запертая дверь в комнату, где спала тётушка, распахнулась. Тётушка вскочила, надела башмаки, накинула платье и вошла ко мне. Но я спал, рассказывала она мне потом, сном праведника, и она не решилась разбудить меня. Я проснулся сам; в первую минуту я ничего не помнил, не помнил даже, что тётушка ночевала тут, в доме, но потом припомнил всё, припомнил и ужасную ночную гостью. Сон и действительность слились в одно.

– А ты не писал чего-нибудь вечером, после того как мы попрощались? – спросила тётушка. – Ах, если бы ты писал! Ты ведь у меня поэт и будешь поэтом!

Мне показалось при этом, что она лукаво-прелукаво улыбнулась, и я уж не знал – любящая ли это тетушка Милле предо мною, или ужасное ночное видение, взявшее с меня слово никогда не писать стихов?

– Так ты не писал стихов, милый мой мальчик?

– Нет, нет! – вскричал я. – А ты... ты тетушка Милле?

– А то кто же? – сказала она.

И впрямь это была тетушка Милле. Она поцеловала меня, взяла извозчика и уехала домой.

Я, однако, решился написать то, что тут написано: это ведь не стихи, да и напечатано никогда не будет!...»

На этом рукопись обрывалась. Молодой друг мой, будущий приказчик бакалейного магазина, так и не мог добыть остальной части тетрадки; она пошла гулять по белу свету в виде обёртки для селедок, масла и зелёного мыла – выполнила свое назначение!

Пивовар умер, тетушка умерла, сам студент умер, а искорки его таланта угодили в бочку. Вот каков был конец истории – истории о тетушке Зубной Боли!

Стойкий оловянный солдатик



Было когда-то двадцать пять оловянных солдатиков, родных братьев по матери – старой оловянной ложке; ружье на плече, голова прямо, красный с синим мундир – ну, прелесть что за солдаты! Первые слова, которые они слышали, когда открыли их домик-коробку, были: «Ах, оловянные солдатики!» Это закричал, хлопая в ладоши, маленький мальчик, которому подарили оловянных солдатиков в день его рождения. И он сейчас же принялся расставлять их на столе. Все солдатики были совершенно одинаковы, кроме одного, который был с одной ногой. Его отливали последним, и олова немножко не хватило, но он стоял на своей одной ноге так же твердо, как другие на двух; и он-то как раз и оказался самым замечательным из всех.

На столе, где очутились солдатики, было много разных игрушек, но больше всего бросался в глаза чудесный дворец из картона. Сквозь маленькие окна можно было видеть дворцовые покои; перед самым дворцом, вокруг маленького зеркальца, которое изображало озеро, стояли деревца, а по озеру плавали и любовались своим отражением восковые лебеди. Всё это было чудо как мило, но милее всего была барышня, стоявшая на самом пороге дворца. Она тоже была вырезана из бумаги и одета в юбочку из тончайшего батиста; через плечо у неё шла узенькая голубая ленточка в виде шарфа, а на груди сверкала розетка величиною с лицо самой барышни. Барышня стояла на одной ножке, вытянув руки, – она была танцовщицей, – а другую ногу подняла так высоко, что наш солдатик ее и не увидел, и подумал, что красавица тоже одноногая, как он.

«Вот бы мне такую жену! – подумал он. – Только она, как видно, из знатных, живет во дворце, а у меня только и есть, что коробка, да и то в ней нас набито двадцать пять штук, ей там не место! Но познакомиться всё же не мешает».

И он притаился за табакеркой, которая стояла тут же на столе; отсюда ему отлично было видно прелестную танцовщицу, которая всё стояла на одной ноге, не теряя равновесия.

Поздно вечером всех других оловянных солдатиков уложили в коробку, и все люди в доме легли спать. Теперь игрушки сами стали играть в гости, в войну и в бал. Оловянные солдатики принялись стучать в стенки коробки – они тоже хотели играть, да не могли приподнять крышки. Щелкунчик кувыркался, грифель плясал по доске; поднялся такой шум и гам, что проснулась канарейка и тоже заговорила, да еще стихами! Не трогались с места только танцовщица и оловянный солдатик: она по-прежнему держалась на вытянутом носке, простирая руки вперед, он бодро стоял под ружьем и не сводил с нее глаз.

Пробило двенадцать. Щёлк! – табакерка раскрылась.

Там не было табаку, а сидел маленький чёрный тролль; табакерка-то была с фокусом!

– Оловянный солдатик, – сказал тролль, – нечего тебе заглядываться!

Оловянный солдатик будто и не слышал.

– Ну постой же! – сказал тролль.

Утром дети встали и оловянного солдатика поставили на окно.

Вдруг – по милости ли тролля или от сквозняка – окно распахнулось, и наш солдатик полетел головой вниз с третьего этажа, – только в ушах засвистело! Минута – и он уже стоял на мостовой кверху ногой: голова его в каске и ружье застряли между камнями мостовой.

Мальчик и служанка сейчас же выбежали на поиски, но, сколько ни старались, найти солдатика не могли; они чуть не наступали на него ногами и всё-таки не замечали его. Закричи он им: «Я тут!» – они, конечно, сейчас же нашли бы его, но он считал неприличным кричать на улице: он ведь носил мундир!

Начал накрапывать дождик; сильнее, сильнее, наконец хлынул ливень. Когда опять прояснилось, пришли двое уличных мальчишек.

– Гляди! – сказал один. – Вон оловянный солдатик! Отправим его в плавание!

И они сделали из газетной бумаги лодочку, посадили туда оловянного солдатика и пустили в канаву. Сами мальчишки бежали рядом и хлопали в ладоши. Ну и ну! Вот так волны ходили по канавке! Течение так и несло, – не мудрено после такого ливня!

Лодочку бросало и вертело во все стороны, так что оловянный солдатик весь дрожал, но он держался стойко: ружье на плече, голова прямо, грудь вперед!

Лодку понесло под длинные мостки: стало так темно, точно солдатик опять попал в коробку.

«Куда меня несёт? – думал он. – Да, это всё штуки гадкого тролля! Ах, если бы со мною в лодке сидела та красавица – по мне, будь хоть вдвое темнее!»

В эту минуту из-под мостков выскочила большая крыса.

– Паспорт есть? – спросила она. – Давай паспорт!

Но оловянный солдатик молчал и ещё крепче сжимал ружье. Лодку несло, а крыса плыла за ней вдогонку. У! Как она скрежетала зубами и кричала плывущим навстречу щепкам и соломинкам:

– Держи, держи его! Он не внёс пошлины, не показал паспорта!

Но течение несло лодку всё быстрее и быстрее, и оловянный солдатик уже видел впереди свет, как вдруг услышал такой страшный шум, что струсил бы любой храбрец. Представьте себе, у конца мостика вода из канавки устремлялась в большой канал! Это было для солдатика так же страшно, как для нас нестись на лодке к большому водопаду.

Но солдатика несло всё дальше, остановиться было нельзя. Лодка с солдатиком скользнула вниз; бедняга держался по-прежнему стойко и даже глазом не моргнул. Лодка заверте-

лась... Раз, два – наполнилась водой до краев и стала тонуть. Оловянный солдатик очутился по горло в воде; дальше больше... вода покрыла его с головой! Тут он подумал о своей красавице: не видать ему её больше. В ушах у него звучало:

Вперёд стремись, о воин,
И смерть спокойно встретить!

Бумага разорвалась, и оловянный солдатик пошёл было ко дну, но в ту же минуту его проглотила рыба.

Какая темнота! Хуже, чем под мостками, да ещё страх как тесно! Но оловянный солдатик держался стойко и лежал, вытянувшись во всю длину, крепко прижимая к себе ружьё.

Рыба металась туда и сюда, выделяла самые удивительные скачки, но вдруг замерла, точно в неё ударила молния. Блеснул свет, и кто-то закричал: «Оловянный солдатик!» Дело в том, что рыбу поймали, свезли на рынок, потом она попала на кухню, и кухарка распоролла ей брюхо большим ножом. Кухарка взяла оловянного солдатика двумя пальцами за талию и понесла в комнату, куда сбежались посмотреть на замечательного путешественника все домашние. Но оловянный солдатик ничуть не загордился. Его поставили на стол, и – чего-чего не бывает на свете! – он оказался в той же самой комнате, увидел тех же детей, те же игрушки и чудесный дворец с прелестной маленькой танцовщицей! Она по-прежнему стояла на одной ножке, высоко подняв другую. Вот так стойкость! Оловянный солдатик был тронут и чуть не заплакал оловом, но это было бы неприлично, и он удержался. Он смотрел на неё, она на него, но они не обмолвились ни словом.

Вдруг один из мальчиков схватил оловянного солдатика и ни с того ни с сего швырнул его прямо в печку. Наверное, это всё тролль подстроил! Оловянный солдатик стоял охваченный пламенем: ему было ужасно жарко, от огня или от любви – он и сам не знал. Краски с него совсем слезли, он весь полинял; кто знает отчего – от дороги или от горя? Он смотрел на танцовщицу, она на него, и он чувствовал, что тает, но всё ещё держался стойко, с ружьем на плече. Вдруг дверь в комнате распахнулась, ветер подхватил танцовщицу, и она, как сильфида, порхнула прямо в печку к оловянному солдатику, вспыхнула разом и – конец! А оловянный солдатик растаял и сплавился в комочек. На другой день горничная wygrебала из печки золу и нашла маленькое оловянное сердечко; от танцовщицы же осталась одна розетка, да и та вся обгорела и почернела, как уголь.

Дюймовочка

Жила-была женщина; очень ей хотелось иметь ребёнка, да где его взять? И вот она отправилась к одной старой колдунье и сказала ей:

– Мне так хочется иметь ребёночка; не скажешь ли ты, где мне его достать?

– Отчего же! – сказала колдунья. – Вот тебе ячменное зерно; это не простое зерно, не из тех, что крестьяне сеют в поле или бросают курам; посади-ка его в цветочный горшок – увидишь, что будет!

– Спасибо! – сказала женщина и дала колдунье двенадцать скиллингов; потом пошла домой, посадила ячменное зерно в цветочный горшок, и вдруг из него вырос большой чудесный цветок вроде тюльпана, но лепестки его были ещё плотно сжаты, точно у нераспустившегося бутона.

– Какой славный цветок! – сказала женщина и поцеловала красивые пёстрые лепестки.

Что-то щёлкнуло, и цветок распустился совсем. Это был точь-в-точь тюльпан, но в самой чашечке на зелёном стульчике сидела крошечная девочка. Она была такая нежная, маленькая, всего с дюйм ростом, её и прозвали Дюймовочкой.

Блестящая лакированная скорлупка грецкого ореха была её колыбелькою, голубые фиалки – матрацем, а лепесток розы – одеяльцем; в эту колыбельку её укладывали на ночь, а днём она играла на столе. На стол женщина поставила тарелку с водою, а на края тарелки положила венок из цветов; длинные стебли цветов купались в воде, у самого же края плавал большой лепесток тюльпана. На нём Дюймовочка могла переправляться с одной стороны тарелки на другую; вместо вёсел у неё были два белых конских волоса. Всё это было прелесть как мило! Дюймовочка умела и петь, и такого нежного, красивого голоса никто ещё не слыхивал!

Раз ночью, когда она лежала в своей колыбельке, через разбитое оконное стекло пролезла большущая жаба, мокрая, безобразная! Она вспрыгнула прямо на стол, где спала под розовым лепестком Дюймовочка.

– Вот и жена моему сынку! – сказала жаба, взяла ореховую скорлупу с девочкой и выпрыгнула через окно в сад.

Там протекала большая, широкая река; у самого берега было топко и вязко; здесь-то, в тине, и жила жаба с сыном. У! Какой он был тоже гадкий, противный! Точь-в-точь мамаша.

– Коакс, коакс, брекке-ке-кекс! – только и мог он сказать, когда увидел прелестную крошку в ореховой скорлупке.

– Тише ты! Она ещё проснётся, пожалуй, да убежит от нас, – сказала старуха жаба. – Она ведь легче лебединого пуха! Высадим-ка её посередине реки на широкий лист кувшинки – это ведь целый остров для такой крошки, оттуда она не сбежит, а мы пока приберём там, внизу, наше гнёздышко. Вам ведь в нем жить да поживать.

В реке росло множество кувшинок; их широкие зелёные листья плавали по поверхности воды. Самый большой лист был всего дальше от берега; к этому-то листу подплыла жаба и поставила туда ореховую скорлупу с девочкой.

Бедная крошка проснулась рано утром, увидела, куда она попала, и горько заплакала: со всех сторон была вода, и ей никак нельзя было перебраться на сушу!

А старая жаба сидела внизу, в тине, и убирала свое жильё тростником и жёлтыми кувшинками – надо же было приукрасить всё для молодой невестки! Потом она поплыла со своим безобразным сынком к листу, где сидела Дюймовочка, чтобы взять прежде всего её хорошенькую кроватку и поставить в спальне невесты. Старая жаба очень низко присела в воде перед девочкой и сказала:

– Вот мой сынок, твой будущий муж! Вы славно заживёте с ним у нас в тине.

– Коакс, коакс, брекке-ке-кекс! – только и мог сказать сынок.

Они взяли хорошенькую кроватку и уплыли с ней, а девочка осталась одна-одиношенька на зелёном листе и горько-горько плакала, – ей вовсе не хотелось жить у гадкой жабы и выйти замуж за её противного сына. Маленькие рыбки, которые плавали под водой, верно, видели жабу с сынком и слышали, что она говорила, потому что все повысунули из воды головки, чтобы поглядеть на крошку невесту. А как они увидели её, им стало ужасно жалко, что такой миленькой девочке приходится идти жить к старой жабе в тину. Не бывать этому! Рыбки столпились внизу, у стебля, на котором держался лист, и живо перегрызли его своими зубами; листок с девочкой поплыл по течению, дальше, дальше... Теперь уж жабе ни за что было не догнать крошку!

Дюймовочка плыла мимо разных прелестных местечек, и маленькие птички, которые сидели в кустах, увидав её, пели:

– Какая хорошенькая девочка!

А листок всё плыл да плыл, и вот Дюймовочка попала за границу.

Красивый белый мотылёк всё время порхал вокруг неё и наконец уселся на листок – уж очень ему понравилась Дюймовочка! А она ужасно радовалась: гадкая жаба не могла теперь догнать ее, а вокруг всё было так красиво! Солнце так и горело золотом на воде! Дюймовочка сняла с себя пояс, одним концом обвязала мотылька, а другой привязала к своему листку, и листок поплыл ещё быстрее.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.